

**НИКОЛАЙ
ЛЕСКОВ**

ПОВЕСТИ

Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература)

Николай Лесков

Повести

«Public Domain»

1864, 1873, 1881

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Лесков Н. С.

Повести / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1864, 1873,
1881 — (Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература))

ISBN 978-5-486-02792-5

Русский писатель Николай Семенович Лесков (1831–1895) – самобытный и оригинальный художник слова с ярко выраженной своеобразной манерой письма. На страницах его произведений запечатлены самые различные слои русского общества: помещики, чиновники, священники, купцы, военные, крестьяне, интеллигенты и рабочие; а их язык – сочный, подлинно народный, изобилующий меткими изречениями, не может оставить равнодушным любого читателя. В данный том включены избранные повести.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02792-5

© Лесков Н. С., 1864, 1873, 1881
© Public Domain, 1864, 1873, 1881

Содержание

Очарованный странник	6
Глава первая	6
Глава вторая	14
Глава третья	19
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	33
Глава седьмая	38
Глава восьмая	41
Глава девятая	45
Глава десятая	51
Глава одиннадцатая	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Николай Семенович Лесков

Повести

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009

Очарованный странник

Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму¹ и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас любопытно пытались сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадаках² в пустынный городок. Затем капитан изготавился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

– Я уверен, – сказал этот путник, – что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно жилали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

– Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан³ (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до тогопил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

– Какая же на это последовала резолюция?

– М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

– И прекрасно сделал, – откликнулся философ.

– Прекрасно? – переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

– А что же? по крайней мере, умер, и концы в воду.

– Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него огля-

¹ ...от острова Коневца к Валааму... – Коневец – остров на Ладожском озере. На Коневце был расположен древний Коневецкий монастырь. Валаам – остров в северо-западной части Ладожского озера; на Валааме находится древний монастырь.

² ...на бодрых чухонских лошадаках... – Чухонцы – старое название эстонцев и финнов.

³ Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан... – Семинарист – ученик семинарии – духовной школы. Дьячок – низший церковный служитель, не имеющий степени священства и помогающий священнику при богослужении.

нулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике⁴ с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах⁵ – этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки⁶, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого⁷. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкой⁸.

– Это все ничего не значит, – начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. – Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться – это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

– А вот кто-с, – отвечал богатырь-черноризец, – есть в московской епархии⁹ в одном селе попик – прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли¹⁰, – так он ими орудует.

– Как же вам это известно?

– А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета¹¹.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец¹² нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

– Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили!

⁴ ...в послушничьем подряснике... – Подрясник – длинное повседневное одеяние духовенства. Послушник – лицо, готовящееся к принятию монашества и исполняющее послушания – низшие церковные службы при богослужении и по монастырскому хозяйству. Некоторые послушники (рясофорные) получают от настоятелей благословение носить рясу и клобук (головной убор монахов низшей степени, а также внебогослужебный головной убор епископов).

⁵ ...постриженный монах... – Вступающему в монашество крестообразно выстригали волосы на голове.

⁶ Камилавка – здесь: часть головного убора монахов – клобука; шапочка, на которую надевался креповый покров (куколь).

⁷ ...напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. – Имеются в виду картина В. П. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира» (1871) и баллада А. К. Толстого «Илья Муромец» (1871). Ниже цитируется эта баллада.

⁸ ...басом с повадкой. – Повадка – важность.

⁹ Епархия – церковная область, находящаяся в подчинении лица епископского сана.

¹⁰ ...чуть было не расстригли... – чуть было не лишили сана (при поставлении в степени священства совершается пострижение).

¹¹ Филарет (в миру – Василий Михайлович Дроздов; 1783–1867) – митрополит Московский (с 1821 г.); придерживался консервативно-охранительных взглядов. Изображен Лесковым в очерках «Мелочи архиерейской жизни».

¹² Черноризец – монах (монашеское одеяние имеет черный цвет).

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

– Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница,– пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попака в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил¹³ и семью всю питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души,– куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят – входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей¹⁴.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб Божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А Святой Сергей отвечает:

«Милости хошу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попака, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что Святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оному течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивых стратопедарх¹⁵ в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте,– говорит,– их: теперь нет их молитвенника»,– и проскакал мимо; а за сим стратопедар-

¹³ ...и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил... – До 1869 г. в России действовал принцип наследственности в замещении вакантных священнических мест в приходах: после смерти священника приход переходил к его сыну или зятю – священникам.

¹⁴ Преподобный Сергей – Сергей Радонежский (ок. 1313 – ок. 1321–1391/1392) – основатель и игумен Троицкого монастыря на севере от Москвы (позднее – Троице-Сергиева лавра); один из самых почитаемых русских святых.

¹⁵ Стратопедарх – начальник воинского лагеря (*греч.*); здесь: глава бесовского воинства.

хом – его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! – он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и спрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, – говорит, – в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на Святой проскомидии¹⁶ за безпокаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай, – изволили сказать, – и к тому не согрешай, а за кого молился – молись», – и опять его на место отправили. Так вот он, этаким человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить.

– Почему же «должен»?

– А потому, что «толцываетесь»¹⁷; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

– А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

– А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться¹⁸. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

– А их нельзя разве читать в другие дни?

– Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

– А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

– Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

– Отчего же это?

– Занятия мои мне не позволяют.

– Вы иеромонах¹⁹ или иеродиакон²⁰?

– Нет, я еще просто в рясофоре²¹.

¹⁶ *Проскомидия* – первая часть литургии, богослужения, на котором совершается причащение верующих телом и кровью Христа под видом хлеба и вина. Во время проскомидии готовятся хлеб и вино для причастия.

¹⁷ *А потому, что «толцываетесь»...* – Лесковский герой цитирует речение из Нагорной проповеди Христа; по церковно-славянской Библии, толцываетесь – стучитесь. В русском переводе: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф., VII, 7–8; ср.: Лк., XI, 9–10). Эти строки толкуются как обещание Христом верующим духовных и вещественных благ по их просьбам и молитвам.

¹⁸ *На Троицу, не то на Духов день... кажется... всем позволено за них молиться.* – Троица (День Святой Троицы, или Пятидесятница) – церковный праздник, совершаемый в воспоминание о сошествии Святого Духа на апостолов в пятидесятый день по воскресении Христа и приуроченный к пятидесятому дню после Пасхи. *Духов день* – день Благодарения Духа Господня – первый понедельник после дня Святой Троицы. Мнение лесковского героя об одобряемом церковью молении о самоубийцах, совершаемом в эти дни, не соответствует канонической практике православной церкви и отражает народные обряды дохристианского происхождения.

¹⁹ *Иеромонах* – монах-священник.

²⁰ *Иеродиакон* – монах в сане диакона, церковнослужителя, прислуживающего священнику в совершении основных обрядов (тайнств), но не совершающего их.

²¹ *Рясофор* – рясофорный послушник – послушник, получивший от настоятеля благословение носить рясофор: предметы монашеского одеяния, клубок и рясу.

– Все же ведь уже это значит, вы инок²²?

– Н... да-с; вообще это так почитают.

– Почитать-то почитают, – отозвался на это купец, – но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

– Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

– Разве вы служили в военной службе?

– Служил-с.

– Что же, ты из ундеров, что ли? – снова спросил его купец.

– Нет, не из ундеров.

– Так кто же: солдат, или вахтер²³, или помазок²⁴ – чей возок?

– Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

– Значит, кантонист²⁵? – сердясь, добивался купец.

– Опять же нет.

– Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

– Я конэсер.

– Что-о-о такое-о-е?

– Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах²⁶ состоял для их руководства.

– Вот как!

– Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельную лукою²⁷ может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

– Как же вы таких усмиряли?

– Я... Я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я, как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрах вместе с кровью покажется, – она и усмиреет.

– Ну, а потом?

– Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

– И лошадь после этого смирно идет?

– Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбилась и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англи-

²² *Инок* – монах.

²³ *Вахтер* – сторож при военном складе.

²⁴ *Помазок* – по-видимому, рядовой нижний чин, молодой солдат.

²⁵ *Кантонист*. – В России до 1856 г. кантонистами назывались дети солдат, обязанные в силу своего происхождения служить в армии.

²⁶ *Ремонтер* – офицер, в обязанности которого входят подбор и закупка лошадей для кавалерийской части.

²⁷ *Седельная лука* – изгиб переднего и заднего края седла.

чанин Рарей²⁸ приезжал, – «бешеный усмиритель» он назывался, – так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

– Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

– С Божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется, «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила²⁹ из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной – крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой – простой муравный горшок³⁰ с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю – вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин³¹, звали), как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять? Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами – они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку шелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутило, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня,

²⁸ Рарей Джон (1827–1866) – американский дрессировщик лошадей; в 1857 г. приезжал в Россию. Автор книги об искусстве укрощения лошадей, переведенной на русский язык.

²⁹ Всеволод-Гавриил (ум. в 1137 или 1138 г.) – святой, князь Новгородский, позднее – Псковский. Совершил из Новгорода несколько удачных походов на земли финно-угорских племен. В псковском Троицком соборе, где был похоронен Всеволод-Гавриил, [на гробнице висит меч его с надписью «Nonorem meum pomini dato» (никому не отдам чести своей)]. (Эристов Д. А., Яковлев М. Л./ Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. 2-е изд. (испр. и доп.). СПб., 1862. С. 60).

³⁰ Муравный горшок – покрытый муравой (глазурью), особым стекловидным сплавом.

³¹ Иван Северьяныч, господин Флягин. – Имя лесковского героя значимо: он подобен сказочным Ивану-дураку и Ивану-царевичу, проходящим через разные испытания. Фамилия говорит, с одной стороны, о былой склонности странника к загулам и питию, с другой – как бы напоминает о библейском образе человека как сосуда, а праведника – как чистого сосуда Божия.

сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит³², поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!»³³ да как дерну его книзу – он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

– Издох однако?

– Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

– Что же, вы служили у него?

– Нет-с.

– Отчего же?

– Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык – для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

– Какая же?

– Хотел у меня секрет взять.

– А вы бы ему продали?

– Да, я бы продал.

– Так за чем же дело стало?

– Так... он сам меня, должно быть, испугался.

– Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

– Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет – я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? – это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» – да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет – и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

– Поэтому вы к нему и не поступили?

– Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

– А вы что же почитаете своим призванием?

– А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

– А когда же вы в монастырь пошли?

– Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

– И тоже призвание к этому почувствовали?

³² ...пардону просит... – просит пощады, сдается.

³³ «Стой, собачье мясо, песья снедь!» – Ср. подобное обращение Ильи Муромца к своему коню в былинах: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!»

- М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.
- Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?
- Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?
- Это отчего?
- Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.
- А чьею же?
- По родительскому обещанию.
- И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?
- Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.
- Будто так?
- Именно так-с.
- Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.
- Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.
- Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.
- Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

– Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии³⁴. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на ворки³⁵ корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован³⁶. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни – отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие³⁷, донские – все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смиренные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе – всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются³⁸ и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство – строгость, но зато уже которые

³⁴ ...из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. – В Орле жили известные самодурством и жестоким обращением с крепостными графы Каменские. Один из Каменских, Сергей Михайлович (1771–1835), имел свой крепостной театр и оркестр. Жизнь крепостных Каменских изображена в рассказе Лескова «Тупейный художник».

³⁵ Ворки. Ворок – скотный двор.

³⁶ ...старинною синею ассигнациею жалован – бумажными деньгами пятирублевого достоинства, выпущенными в 1786 г.

³⁷ Битюцкие – битюги, порода лошадей-тяжеловозов, разводимая по реке Битюгу в Воронежской губернии.

³⁸ Оборкаются – обвыкнутся, привыкнут.

все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком, а когда я подрост, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали³⁹, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск⁴⁰, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную⁴¹ сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддиди-и-и-иттт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубaxe вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь⁴². Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям сажеными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать – столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «ддиди-и-и-иттт-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-накрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал,

³⁹ ...кофишенками звали... – Кофишенок – придворная должность смотрителя за кофе и чаем (из нем.).

⁴⁰ ...аспид и василиск... – Аспид – ядовитая змея, упоминаемая в Библии; василиск – упоминаемая в Ветхом Завете разновидность змеи или ящерицы, а также чудовищный мифологический змей-дракон, изображавшийся с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи.

⁴¹ ...на фореиторскую подседельную... – на лошадь под седлом, на которой должен сидеть фореитор.

⁴² П... пустынь. – В Трубчевском уезде Орловской губернии находилась Предтечева Яминская пустынь.

верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты,— говорит,— меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет,— отвечаю.— Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем,— говорю,— тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то,— говорит,— это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленный сын*?»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты *сын обещанный!*»

«Как это так?»

«А так,— говорит,— что ты Богу обещан».

«Кто же меня Ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение⁴³ в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графиней в Воронеж,— к новоявленным мощам⁴⁴ маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

⁴³ Знамение — чудесный знак (церксл.).

⁴⁴ ...в Воронеж, — к новоявленным мощам... — В 1832 г. в Воронеже были открыты мощи Митрофания, первого епископа Воронежского. Поклонявшиеся мощам больные надеялись на чудесное исцеление.

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых⁴⁵, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был – как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню – нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою фореитор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедет. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удиллов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся. Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самую пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

– Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

– Должно быть, жив.

– А помнишь ли, – говорит, – что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямишей; а что дальше было – не знаю.

А мужик улыбается:

– Да и где же, – говорит, – тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели – расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим – ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь, – говорит, –

⁴⁵ Дышловыи. – Дышло – оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней оси повозки или кареты при парной запряжке.

если можешь, вставай, поспедай скорее к угоднику⁴⁶: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

– Вот,– говорит,– мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

– Проси у меня, Голован, что хочешь,– я все тебе сделаю.

Я говорю:

– Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

– Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

– Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

– Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, – говорит,– ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

– На,– говорит,– играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю зачем себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

⁴⁶ Угодник – здесь: святой, покровительствующий человеку, оберегающий его; возможно – святой Николай Угодник, архиепископ Мирликийский.

Глава третья

Не успел я, по сем благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей – голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубят, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся – все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и швырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней – пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, – думаю, – нет, зачем же, мол, это так делать?» – да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, – так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут. Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силочек, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем⁴⁷, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, – думаю, – теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

– Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

– Что такое?

⁴⁷ Сем – а ну-ка, дай-ка.

– Это ты,– говорит,– Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

– Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

– А как же ты,– говорит,– это смел?

– А она, мол, как смела моих голубят есть?

– Ну, важное дело твои голубята!

– Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

– Что,– говорю,– за штука такая кошка.

А та стрекоза:

– Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала,– да с этим ручкою хватать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в англицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решил с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником⁴⁸, стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, загравил петлю и всунул туда голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется – белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

– Что это,– говорит,– ты, батрак, делаешь?

– А тебе, мол, что до меня за надобность?

– Или,– пристаёт,– тебе жить худо?

– Видно,– говорю,– не сахарно.

– Так чем своей рукой вешаться, пойдем,– говорит, – лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

– А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

– Воры,– говорит,– мы и воры и мошенники.

– Да; вот видишь,– говорю,– а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

– Случается,– говорит,– и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеваются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще, – говорят,– спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

⁴⁸ Огуменник – огороженное место, где ставят скирды намолоченного хлеба, расположенное возле сарая для сжатого хлеба.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

– Чтoб я,– говорит,– тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шею, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию⁴⁹, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

– Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

– Как,– говорю,– я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

– Потому,– отвечает,– что такая выросла.

– Это,– говорю,– глупости: почему же ты себе много берешь?

– А опять,– говорит,– потому, что я мастер, а ты еще ученик.

– Что,– говорю,– ученик,– ты это все врешь! – да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

– Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

– И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю⁵⁰, чтобы объявиться, что я сбежливый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

– Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

– Нет,– говорю,– у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

– Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

– Да,– говорю,– это сережка.

– Серебряная?

– Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания⁵¹ серебряный.

– Ну, скидай,– говорит,– их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

– Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,– говорит,– и кому еще нужно – ко мне посылай.

⁴⁹ ...разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию... – В 1830–1840-х гг. ассигнационный рубль стоил 27 копеек серебром.

⁵⁰ Заседатель – выборный от дворян член уездного суда или судебной палаты.

⁵¹ ...от Митрофания... – из воронежского Благовещенского Митрофаньева монастыря.

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а всё только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтром отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козой отчего дитя не воспитать, но только все бы,— говорю,— кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать,— и коза-то, и та к нам привыкла, бывало, за

нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

– Я,– говорит,– тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

– Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокошет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападет страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван, иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, фореитором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины⁵², как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче⁵³; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну,– думаю,– опять это мне про монашество пошло!» – и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу – дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

⁵² *Сарацины* – имя мусульманских народов в средневековой письменности, сохранившееся в русском фольклоре.

⁵³ *...как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче...* – «Сказание о Еруслане Лазаревиче» – русская богатырская авантюрно-сказочная повесть, созданная на Руси в XVII в. на основе восточных сказаний; «*Бова Королевич*» – русская богатырская авантюрно-сказочная повесть, созданная в XVII в. и восходящая к французскому рыцарскому роману. Обе повести-сказки стали популярнейшими произведениями для народного чтения и расходились в дешевых лубочных изданиях («Бова» издавался до 1919 г. более двухсот раз).

– Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

– Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

– Ну так что же в этом такое?

– Отдай,– говорит,– мне ее.

– С чего же ты это,– говорю,– взяла, что я ее тебе отдам?

– Разве тебе,– плачет,– ее не жаль? видишь, как она ко мне жметя.

– Жаться, мол, она глупый ребенок – она тоже и ко мне жметя, а отдать я ее не отдам.

– Почему?

– Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена – вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

– Ну, хорошо,– говорит,– ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай,– говорит,– моему мужу, а моему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

– Это, мол, другое дело,– это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

– Кури,– говорит,– пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехой и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?... с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

– Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

– Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, – говорит,– что я тебе скажу: нынче,– говорит, – он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

– Кто это такой?

Она отвечает:

– Ремонтер.

Я говорю:

– Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

– Ну, уж вот этого,– говорю,– никогда не будет.

– Отчего же, Иван? отчего же? – пристаёт.– Неужто тебе меня и не жаль, что мы в разлуке?

– Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеры тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

– Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

– Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

– Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуды, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

– Опять-таки,– отвечаю,– это не мое дело.

– Неужто же,– вскрикивает она,– неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

– А что же,– говорю,– если ты, презрев закон и религию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко напашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему – та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

– Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, – говорит, – раскинем, у него глаза разбежятся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка, – и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

– Вот, – говорит, – тут ровно тысяча рублей, – отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

– Нет, – говорю, – это твое средство, ваше благородие, не подействует, – а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

– Тубо, пиль, апорт⁵⁴, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, – что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

– Вот тебе, – говорю, – и храбрость твою под ногою придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

– Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хватъ за другую и говорю:

– Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

– Подлец, подлец, изверг! – и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и у него в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

– Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, – думаю себе, – так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» – да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

– Натё вам этого пострела! только уже теперь и меня, – говорю, – увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говорит:

⁵⁴ *Тубо, пиль, апорт...* – команды, отдаваемые собаке (из *фр.*). *Тубо* – «нельзя!», «смирно!», «будь на месте!»; *пиль* – возглас, которым приказывают собаке броситься на дичь; *апорт* – приказание поднять и принести что-либо.

– Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы еду, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

– Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

– Почему же?

– А потому, – отвечает, – что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

– Нет, у меня был, – говорю, – паспорт, только фальшивый.

– Ну вот видишь, – отвечает, – а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужасно как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

– Ну, прощайте, – говорю, – покорно вас благодарю на вашем награждении, но только вот что.

– Что, – спрашивает, – такое?

– А то, – отвечаю, – что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

– Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик.

– Нет-с, это, – отвечаю, – мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

– Это, – отвечает, – правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

– Ну, позвольте же, – говорю, – я этого никак дальше снести не могу...

– А что же, – говорит, – теперь с этим делать? Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

– Вынуть, – говорю, – нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, – и взял обе щеки перед ним надул.

– Да за что же? – говорит, – за что же я тебя стану бить?

– Да так, – отвечаю, – для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

– Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

– Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, – говорю, – меня с обеих сторон ударить, – и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

– Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

– А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю: «Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, – думаю, – пойду в полицию и объявлюсь, но только, – думаю, – опять теперь

то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимают, ездовых коней пробуют. Разные – и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посреди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

– Нешто ты, – говорит, – его не знаешь: это хан Джангар⁵⁵.

– Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

– Хан Джангар, – говорит, – первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески⁵⁶, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

– Разве, – говорю, – эта степь не под нами?

– Нет, она, – отвечает, – под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, – говорит, – хан Джангар там и царюет, у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и шик-зады, и мало-зады, и мамы⁵⁷, и азии, и дербыши⁵⁸, и уланы⁵⁹, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонял перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник, стоит? просто статуя великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик⁶⁰! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость⁶¹ пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонять, – видит, знаете, по-своему, по-

⁵⁵ *Хан Джангар* – хан Букеевской киргизской орды, кочевавшей в пределах Астраханской губернии; был назначен русским правительством и числился на государственной службе. Вел крупную торговлю лошадьми.

⁵⁶ *Рынь-пески* (*нарън* – по-казахски «узкий песок») – гряда песчаных холмов в низовьях Волги.

⁵⁷ *Мамы* – имамы, мусульманские священнослужители.

⁵⁸ *Дербыши* – дервиши, мусульманские нищенствующие монахи.

⁵⁹ *Уланы* – здесь: 1) телохранители; 2) члены ханской семьи, князя (*тюркск.*).

⁶⁰ *Антик* – произведение античной скульптуры или его фрагмент в подлиннике или слепке. Здесь: редкость, ценность.

⁶¹ *Зорость* – сильное желание, зависть (от «зариться»).

татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке прилагается да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! – думаю себе,– ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты,– думаю,– милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,– но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы⁶², гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

– Моя кобылица.

А хан отвечает:

– Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно шелки, и орет сразу:

– Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

– Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

– Это,– говорит,– дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он,– говорит,– не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает⁶³ откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится и еще деньги за это получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

– Диво,– говорю,– какая лошадь!

– Подлинно диво. Он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский Ишим⁶⁴ в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

– А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

– А из-за того,– отвечает,– что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет.

– Что же они,– спрашиваю,– очень, что ли, богаты?

– И богатые,– отвечает,– и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся

⁶² Селикса – село в 50 километрах на юго-восток от Пензы по дороге к приволжским степям.

⁶³ ...михорь его знает... – Михорь (михирь – диал.) – синоним нецензурного слова.

⁶⁴ Мордовский Ишим – село в 40 километрах на восток от Пензы.

морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худийши, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, – оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

– Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значит, пять лошадей), – а другой вопит:

– Врет твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

– Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

– Двадцать.

Бакшей:

– Двадцать пять.

А Чепкун:

– Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, а Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», – и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшею, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

– Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

– А вот видишь, – говорит, – этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

– Как же, – спрашиваю, – можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

– Отчего же, – отвечает, – азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

– Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

– Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стихали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

– Сгода! – дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

– Сгода: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы⁶⁵ и чевяки⁶⁶ сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны⁶⁷ степные, и сидят.

⁶⁵ *Бешметы*. – *Бешмет* – стеганое татарское полукафтанье.

⁶⁶ *Чевяки* – сафьяновые башмаки с такой же подошвой.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

– Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнивал их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, – говорит, – обе штуки ровные».

– Ровные, – кричат татарва, – все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшеею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже вытолбенели, и левые руки замерли, а ни тот ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

– Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

– Да, – отвечает, – тоже такой поединок, только это, – говорит, – не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

– И что же, – говорю, – они эдак могут друг друга долго сечь?

– А сколько им, – говорит, – похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшеею перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат – те за Чепкуна, а те за Бакшеею, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшеею держать, а потом говорит:

– Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшеею собьет.

А я говорю:

– Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

– Сидят-то, – говорит, – они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

– Что же, – говорю, – по моему мнению, Бакшеею еще ярче стегает.

– А вот то, – отвечает, – и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его заперет.

«Что это, – думаю, – такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, – размышляю, – должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

– Скажи, – говорю, – милый человек, отчего ты теперь за Бакшеею опасаться?

А он говорит:

– Экой ты пригородник⁶⁸ глупый! ты гляди, – говорит, – какая у Бакшеею спина.

⁶⁷ *Курохтан* (турухтан) – птица из болотных куликов.

⁶⁸ *Пригородник* – здесь: человек из города, городской человек (в противоположность живущему в степи и знающему степ-

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.
– А видишь,– говорит,– как он бьет?

Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

– Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

– Что же, мол, такое нутрём? – я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

– Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

– Что же,– спрашиваю,– стало быть, Чепкун надежней?

– Непременно,– отвечает,– надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?

– Теперь,– говорю,– понимаю,– и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

– А еще самое главное,– указывает мой знакомец,– замечай,– говорит,– как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет,– это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядит, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а свою правую все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

– Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка – совсем пересек Бакшея, садись – теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

– Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот,– думаю,– все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет»,– а мне страх как не хотелось про это думать.

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, – по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, – настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

– Как он ваш стал? – перебили рассказчика удивленные слушатели.

– Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

– Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

– Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

– Значит, вы татарина победили?

– Победил-с, не без труда, но пересилил его.

– Ведь это, должно быть, ужасная боль.

– Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровался, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

– Как запорол, неужто совершенно до смерти?

– Да-с, он через свое упорство да через политику⁶⁹ так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, – отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с неммым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

⁶⁹ ...через свое упорство да через политику... – Политика – здесь: поведение.

– Видите,– продолжал он,– это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно, потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

– И сколько же вы насчитали ударов? – перебили рассказчика.

– А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, и я сбился на минуту и уже так, без счета пуцал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва – те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,– говорят,– ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,– говорят,– тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя,– говорят,– по христианству надо судить. Пойдем,– говорят,– в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

– То есть позвольте... как же они вас скрыли!

– Совсем я с ними бежал в их степи.

– В степи даже!

– Да-с, в самые Рынь-пески.

– И долго там провели?

– Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

– Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

– Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

– Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

– Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорит, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь – коней нам лечи и бабам помогай».

– И вы лечили?

– Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

– Да вы разве умеете лечить?

– Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит – я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было,– в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

– И обжились вы с ними?

– Нет-с, постоянно назад стремился.

– И неужто никак нельзя было уйти от них?

– Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

– А у вас что же с ногами случилось?

– Подщетилен я был после первого раза.

– Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетилены!*

– Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем», ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

– Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

– Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стружкой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши, – всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, – говорю, – вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, – говорю, – это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, – говорят, – присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячкой на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» – думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, – скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

– Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

– Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

– Попервоначалу даже очень нехорошо, – отвечал Иван Северьяныч, – да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились⁷⁰.

⁷⁰ ...с этих пор хорошо печалились. – Печалились – здесь: заботились.

«Теперь,— говорят,— тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя приготовить неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутишнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разнo... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же,— запытал опять один из слушателей,— как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и шихзады и мало-зады и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы,— отвечаю ему,— ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья,— говорю,— слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так,— говорит,— и видел, что из них,— говорит,— настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчей обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

– И вы верхом ехали?

– Верхом-с.

– А как же ваши ноги?

– А что же такое?

– Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

– Ничего; это у них хорошо приновлено: они эдак кого волосом подщетилят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

– Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

– Опять и еще жесточе погибал.

– Но не погибли?

– Нет-с, не погиб.

– Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

– Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригнали со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же, сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? Она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств⁷¹, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны⁷².

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

⁷¹ ...были без всех церковных таинств... — *Таинства* — основные обряды христианской церкви, заповеданные Христом и апостолами; в таинствах, по православному учению, под видимым образом верующим сообщается благодать Божия. К обязательным для всех верующих таинствам относятся крещение, миропомазание, причащение, покаяние (а также елеосвящение, совершаемое над больными и находящимися при смерти).

⁷² ...мирм не мазаны... — Речь идет о таинстве миропомазания, совершаемом над принимающим крещение.

– Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

– А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

– Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

– Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

– Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую – все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

– Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, – суета поднимется: дрохвы⁷³ летят, стрепеты⁷⁴, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или поздешнему дрохов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка⁷⁵, дикий персичек или чилизник...⁷⁶ И когда на восходе солнца туман росую садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи Господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там – погибель. Живости даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит – не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи⁷⁷ и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота⁷⁸, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке⁷⁹; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит – татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись,

⁷³ Дрохвы (дрофы) – крупные степные птицы.

⁷⁴ Стрепеты – один из видов дроф.

⁷⁵ Таволожка – таволга, заимствованное из тюркских языков название двух растений: лабазника, лугового растения с соцветиями желто-белых или розоватых цветов, и спирея, кустарникового растения с собранными в метелки или зонтики белыми, розовыми или красными цветками.

⁷⁶ Чилизник – кустарник или небольшое деревце из бобовых; желтая акация (из тюркск.).

⁷⁷ Хлупь – кончик крестца у птицы.

⁷⁸ ...ни живота... – ни жизни (церксл.).

⁷⁹ ...зимой на тюбеньке... – Известно слово «тюбяк» в говорах Казанской губернии, означающее влажный участок земли около леса, заросший сорняком.

худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются,— это и называется *тюбенькуют*... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиной режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Ильи, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нет, мол, батюшка, у нас газетной бумаги»,— он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избежал от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

– А совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных»⁸⁰, а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же,– думаю,– молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумяtitся.

Я говорю:

– Что такое?

– Ничего,– говорят,– из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

– Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидел, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

– А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

– Нет,– я говорю,– я, точно, русский! Отцы,– говорю,– духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись»,– и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

– Попугайте,– говорю,– их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп

⁸⁰ ...«о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных»... – неточно цитируемые слова (должно быть: «о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся») из великой ектении.

за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, – говорю, – здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

– Что, – говорят, – сыне: выкупу у нас нет, а пугать, – говорят, – нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

– Так что же, – говорю, – стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

– А что же, – говорят, – все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть, Он тебя и избавит.

– Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

– А ты, – говорят, – не отчаявайся, потому что это большой грех!

– Да я, – говорю, – не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

– Нет, – отвечают, – ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид⁸¹: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

– Все? – говорю.

– Да, – отвечают, – все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, – говорят, – рабы должны повиноваться⁸². А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

– Вот ведь, – говорят, – видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, – это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

– У нас на озере, тятка, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет, – а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, – думаю, – не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый Боже» над ним пропел, – а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; только тоже, верно, он тем же кончил, что венец принял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

– А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

– Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

⁸¹ ...мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид... – слегка измененные слова из Посланий апостола Павла: «Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника [...] ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал., III, 26–28, ср.: Рим., X, 12; Кол., III, II). *Еллины* – язычники. Эти слова Павла о том, что проповедь христианства равно обращена и к язычникам, и к верующим в единого Бога евреям, в более широком смысле истолковываются как свидетельство, что для христианской веры нет различий между народами, между своими и чужими.

⁸² Ты раб... по апостолу Павлу... рабы должны повиноваться. – «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (Ев., VI, 5–8). Применение миссионерами смысла этих слов к Ивану Северьяновичу в плену у татар не вполне оправданно, так как апостол Павел говорит прежде всего о послушании рабов-христиан господам-христианам.

– Отчего же?

– Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смиренного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смиренного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

– А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

– Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

– Вот разбойники!

– Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохматках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что Бог позвал его перед самого Себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все Мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, Я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготавливал себе агнца⁸³, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой,– говорят,– давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодезь кинули.

– Вот тебе и проповедуй им!

– Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

– Были?!

– Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожинки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

– Ну, а как же вы-то от них вырвались?

– Чудом спасен.

– Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

– Талафа⁸⁴.

– Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

⁸³ *Агнец* – ягненок (*церкосл.*).

⁸⁴ *Талафа* – в индийской мифологии такого бога нет.

– Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний Бог, на землю сходящий.

Упрощенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал ниже следующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

– После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поужнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригоняли к нам два человека, ежели только можно их за человека считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? – лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли⁸⁵ коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем – не сказывают, но только все татарву против русских подушают. Слышу я, этот рыжий, – говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «натшалник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните,– говорят,– а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем,– ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не высказывайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского Бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как выюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну,– думаю,– однако, видно, салафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер,– как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое делается и потом синее станет.

⁸⁵ ...из Хивы пришли... – Хивинское ханство (на территории современных Таджикистана и Узбекистана) в 1830—1850-х гг. состояло во враждебных отношениях с Россией.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать этого, разумеется, никому нельзя этой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулурами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуместь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробежали, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башмаками трясут, вопят: «Алла! Алла!» – да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши батыри⁸⁶ угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну ту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге, – думаю себе, – да это, должно, не Бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», – да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух – какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»⁸⁷

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордую вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости, – говорят, – Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости, – говорят, – что мы в твоего Бога не верили».

«Ага, – думаю, – вон оно как я их пугнул», – да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что ж: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить».

«Не губи, – отвечают, – мы все под вашего Бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

– Тут же, в это самое время и окрестили?

– В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «Во имя

⁸⁶ Батыри (батыры) – воины, богатыри (тюркск.).

⁸⁷ «Пирле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!» – бессмысленный набор французских, немецких и русских слов.

Отца и Сына»⁸⁸, и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

– И они молились?

– Молились-с.

– Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

– Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

– Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

– А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнул, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

– Но они вас не догнали?

– Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

– И все пешком?

– А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретишь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

– Чего же вы его боялись?

– Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись,– кричит,– веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя Бога нет?»

«Как,– говорит,– нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же,– говорю,– твой Бог?»

«А у меня,– говорит,– всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя Бог, а Иисус Христос,– говорю,– стало быть, тебе не Бог?»

«Нет,– говорит,– и он бок, и Богородица бок, и Николач бок...»

«Какой,– говорю,– Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет»⁸⁹.

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

⁸⁸ ...«Во имя Отца и Сына»... – молитвословие, произносимое, в частности, при совершении крещения.

⁸⁹ «А что один на зиму, один на лето живет». – Николаю Угоднику посвящены два дня – 6 декабря ст. стилия (19 декабря нов. стилия) и 9 мая ст. стилия (22 мая нов. стилия), называемые в народе «Никола зимний» и «Никола летний».

«Всегда,— говорю,— его почитай, потому что он русский»,— и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же,— говорит,— я Николача почитаю: я ему на зиму пушай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую»⁹⁰.

Я и рассердился.

«Как же,— говорю,— ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь,— говорю,— не хочу я с тобою... Я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют,— ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага⁹¹ рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего,— говорят,— здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят,— ишь ты без нее как зачичкался⁹²».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на Святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,— нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбаки смеется.

⁹⁰ ...Керемети бычка жертвую. — Кереметь — в чувашской мифологии духи, в которых превращались души почитаемых людей (предков, колдунов).

⁹¹ Ватага — промысловая артель, обычно рыболовецкая.

⁹² Зачичкался — захилел, похудел.

«Я,— говорит,— над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».
Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе⁹³, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты, — говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,— говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же,— думаю,— делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена»,— но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с⁹⁴.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

⁹³ ...в разрядной избе... — здесь: в конторе.

⁹⁴ Магнетизм — здесь: гипнотическое внушение (из *фр.*).

- Отчего же-с, с большим моим удовольствием.
- Так пожалуйста.

Глава десятая

– Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь прееет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощения и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что Божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

– Отчего же это не послужит в пользу?

– Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,– говорит,– братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,– вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и несколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,– говорю,– если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не

латошить⁹⁵, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок⁹⁶, за обрез и за грудной соколок⁹⁷ или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латоху увидел, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух – ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, – их обрезают, – а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, – барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзой шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером рашенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подыметя и глаз освежит, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей то приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, а сам кольнет».

И я своему ремонтёру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, – будет землю ногами цеплять; эта ложится – копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу⁹⁸ намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колена об ясли бьет», – и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтёрскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтёром знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтёре, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке⁹⁹ ко мне в конюшню и говорит:

⁹⁵ *Латошить* – суетиться, делать бестолково (*простореч.*).

⁹⁶ *Храпок* – средняя и нижняя часть переносья у лошади.

⁹⁷ *Соколок* – выступ на переднем конце грудной кости у животных.

⁹⁸ *Кила* – грыжа.

⁹⁹ ...в архалучке... – *Архалук* – род короткого кафтана.

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» – он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный*, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечаю, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои,– говорит,– так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы,– отвечает,– изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько,– спрашиваю,– вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж¹⁰⁰ денег дал.

«Нет, ты,– говорит,– лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж то,– отвечаю,– покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! – начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: – Ну, пожалуйста,– говорит,– не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

– Никогда,– отвечал он.– Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

– Ведь он на вас небось за это сердился?

– Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с,– говорит,– извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

– А с вами что же случилось?

– Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

– А что это значит *выходы*?

– Гулять со двора выходил-с. Обучаясь пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по ним и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

¹⁰⁰ *Реванж* – реванш, отыгрыш.

– Это значит – запьете?

– Да-с; выйду и запью.

– И надолго?

– М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выплывешь, и доволен, и отойдет. В таких случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

– У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздри субтильные¹⁰¹ и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попускаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятаями, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в

¹⁰¹ Ноздри субтильные – нежные, хрупкие (из фр.).

углу дьявола в геенне¹⁰² ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послунивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь»,— а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, служащие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

– Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне,— говорит,— я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробой жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это почувствовал и руку мне подает.

– Верно,— говорит,— ты происхождения из господских людей?

– Да,— говорю,— из господских.

– Сейчас,— говорит,— и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси¹⁰³,— говорит,— тебе за это.

Я говорю:

– Ничего, иди с Богом.

– Нет,— отвечает,— я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

– Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал рассказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

– Что это... ты чай пьешь?

– Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей.

– Спасибо,— отвечает,— только я чаю пить не могу.

– Отчего?

– А оттого,— говорит,— что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..— И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды рассказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

¹⁰² Геенна – ад.

¹⁰³ Гран-мерси – большое спасибо (grand merci – фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.